

Снега



ПОЭЗИЯ
И
ПРОЗА
РАЗНЫХ
ЛЕТ

Рустем Кутуй
1936—2010

* * *

В городе снег,
Как на детской ладошке бабочка.
В городе снег,
Это словно
Белый медвежонок
Идёт по школьному коридору,
И все ошарашены.
В городе снег,
И дома голубеют,
Как чистовыбранные подбородки.
Фонари удивлены. Ворчуны добреют.
И зябнут,
Как руки в рукавах.
Боязливые подворотни.
В городе снег,
И слышно,
Как рассыпаются минуты
С циферблата часов на углу.

Рустема Кутуя

Первое свидание

95

Я выхожу.
Я дверь хлопаю.
Я ныряю
В снежные хлопья.
Я снег ботинками
Весело мну,
Снежком бросаю в большую луну.
Встречаю девчонку,
В сугроб толкаю,
Потом отряхаю
И вдруг умолкаю,
Хочу сказать ей
Большое,
Важное –
Девчонка ждёт,
Краснеет,
Страшно ей,
Как в омут кинуться,
Кинуться вдруг,
Как зеркало выронить
Из рук,
И я молчу,
В первый раз закуриваю,
Бровь для солидности
Нахмуриваю,
Веду девчонку
Зачем-то за руку,
Точно вхожу
В густые заросли –
Ладонь у неё очень узкая,
Тёплая,
Будто снегом растёртая.
В проулке тихо –
И дверь не хлопнет,
И падают,
Падают
Снежные хлопья.

Снег

Я произношу «Снег...» –
И мне становится светло,
Как, должно быть, айсбергу,
Отрешённому в океане.
Точно у меня там, в глубине,
Превозмогая пласты,
В беспамятстве души
Пересыпается снег.
Он холодит мою грудь
Бесконечным паденьем.

Это облетают мгновенья.
Я хотел бы их повторить,
А они исчезли,
Превратившись в пепел.

Но там,
В беспамятстве заолодавшей души,
В глубоких потёмках
Осыпаются узкие пёрышки
Когда-то свободных крыльев,
Взметённых полётом.

Нескончаемо падение снега
И сладостно,
И безвозвратно.

Падение, а не полёт,
Оглушённое медленным светом
Сгоревшего солнца
На срезе льда.

Я освещён в темноте пламенем жизни.
Падаю, падаю...
Высь и глубь обнимают меня.

Рис. Влады Семёновой

Страна моя – ДЕТСТВО

*Я из моего детства.
Я пришёл из детства,
как из страны...*

Сент-Экзюпери

97

Старый тополь рос на нашем дворе, морщинистый, одинокий. Умиralи ветви, оставляя листья на земле, но из древесной мощи выходили новые зелёные лезвия с клейкими почками и горькой корой. Погибшие сухие сучья срубали, но тополь продолжал жить в какой-то мучительной, непостижимой жажде устремления вверх к сияющим небесам.

Под его корнями был подземный ход «до самого, до Кремля», может быть – так хотелось нам, и мы поверили, – легенда чисто высветлилась в сознании. Каждую весну прилетали грачи на оставленные гнёзда. Казалось, тополь бережно хранил среди зимы и ветров ненадёжный приют птиц. Каждую весну гнёзда только подновлялись, и дерево праздновало новоселье. А дыру под тополем завалили, чтобы поубавить опасное детское любопытство.

Теперь тополь спилили, и просторный пень, оставшийся жить, хранит годовые кольца. Они постепенно гаснут, словно уходят воронкой в глубину земли. Но стоит прикрыть глаза, и из этих колец восходит к небесам прежний тополь – с шумными гнёздами птиц.

Была война, и посреди двора росли тыквы и огурцы. Приходили похоронки, и на лавочке сидели горестные женщины. До сих пор я помню каждую в лицо и могу через десятилетия назвать по имени. Память неистребимо сберегла дыхание общего горя, – иногда оно возвращается, и я, живущий в другом пространстве, снова стою маленький посреди большой войны.

На фронт отправляли кисеты и шерстяные носки, а по раннему свету бежали в очередь за хлебом. Тот магазин на прежнем месте, и когда я прохожу мимо, всякий раз испытываю нечто вроде голода – запах хлеба прошлым искушением течёт в крови. Очередь была во весь квартал: тесная на морозе, дышащая будто одной грудью, и суетливая, переменчивая в летние дни.

**Хлеб – в ладонь. А он, как птица,
Словно может улететь.
Снится, снится – лица, лица,
Спины, спины,
Снег какой-то синий-синий.
Мне бы в тот сугроб забиться,
Мне б с краюшкой забиться...**

Те же дома остались, после которых медленно продвигались мы к хлебному окошку. Они стоят как вежи, здесь узнавалась цена хлеба и цена жизни. И я прохожу по неисчезнувшим следам.

Как оказался этот странный парашютный шёлк в нашем доме? Его крепкие швы распарывали, сидя прямо на полу. Шёлк невесомо плавал на руках. А потом... старшая сестра стояла перед зеркалом в ослепительном платье. Потому ли, что в доме было тихо и мерцающий голубоватый огонь коптилки расходился дрожащими кругами, – но осталось какое-то таинственное чувство от необыкновенного отражения в зеркале. Зеркало было словно приглашено, а в глубине его стояло чистое облако – моя сестра. Я и себя увидел в зеркале, но не сразу, потому что торчал где-то с краешка – эдакий большеглазый совё-

нок. Горели только мои глаза: как две новогодние свечи. И чьи-то слова: «А отец под Сталинградом. Такие вьюги. Слышишь, что за окном творится...» Снова тихо – плачущий ветер, и смутно блистающее зеркало, заполняющее собой комнату, и лёгкая, как белый пар, сестра в праздничном платье из военного парашютного шёлка.

Письма с войны, треугольники и открытки, написанные чернилами и карандашом. При коптилке и солнечном свете, наспех и задумчиво. Теперь они хранятся в отдельной папке – далёкое эхо жизни отца. Перечитывать их больно. Мать иногда просиживает целый вечер над ними, склонив на руку седую голову. Мир как бы замыкается – она слышит голос отца, он о чём-то спрашивает её, она отвечает. Потом мать поливает цветы и разговаривает сама с собой. Её нельзя тревожить в такие минуты. Она спокойна, тиха, но словно блуждает в потёмках памяти, не находя нужной двери, чтобы выйти в освещённый снегом день. На столе в коробочке сияет орден Отечественной войны.

В госпитале я проводил целые дни, потому что дома было пусто. А здесь – рядом мать, рядом мир, где живут интересные взрослые люди войны, раненые. Я воровал для них понемногу спирта из белой аптечки матери и нёсся как угорелый по коридору с добычей, однако не производя шума, и появлялся на пороге палаты удачливый и счастливый. Я знал наизусть все военные песни. Но как хорошо мне тогда дышалось, как звонок и высок был мой голос! На пяточке палаты в длинном халате я устраивал маленький театр, дурачась и ликуя, насколько позволяла моя фантазия. Может быть, я тоже был санитаром и облегчал чужую боль. А весной в госпитальном саду раненые дышали светлым воздухом и цветами, – и я дышал с ними вместе, молчаливый в молчанье, – «свой парень госпиталю». Как это было давно, но как понятны глубокие сумерки и «тёмная ночь... Только пули свистят по степи...»

вполголоса, будто плывущая как большая задумчивая птица над миром, где спят защищённые звёзды в высоте, и осколок луны пронзительно ясен в чёрном небе.

Игры были опасными и тревожными, и среди ночи я часто вскакивал с внутренним криком и долго сидел на постели подле спящей сестры. Под подушкой у нас лежало по крепкому ржаному сухарю. Мать принесла их с базара и прокалила огнём. Я потихоньку расталкивал сестру. Она тоже садилась на кровати, отряхиваясь от сна.

– Давай есть сухари, – говорил я. – Сама придумывала, чтоб ночью.

И мы начинали хрустеть в темноте, как мыши, давясь лёгким смехом. Ночью сухари были вкуснее. А слова: «Мы сидели на полу и ели халву» – обманывали нас и могли сбыться только в богатом сне.

И вот ведь, поди разберись в устойчивых желаниях, до сих пор чёрные сухари для меня слаще халвы. И в ушах звенит тоненький смех сестры, как будто у неё в горле собралось много щекощущих крошек.

Утром я брал санки и отправлялся в библиотеку радиокомитета. Там до войны работал отец, и поэтому я со всеми здоровался, снимая шапку. Так делал деревенский хромой дядька, призывавший нас картошку. Я забирал цветные книги, вдыхая хороший запах старой бумаги. Он странно будоражил меня и сохранился в сегодняшнем дне, как запах засохших цветов.

– Как живёшь? – спрашивала библиотечарша, седая, с жёлтым лицом. Мне казалось, что она натирает щёки акрихином.

– Ничего, – отвечал я. – Живу.

– Куда же столько набираешь? Неужто прочитаешь?

– Мы пополам с сестрёнкой.

– Ну, вези, гоголь-моголь...

Я завёртывал книги в одеяло и укладывал на санки, чтобы их не замочило снегом и не помяло в дороге.

Но однажды библиотечарша (у неё что-то всё хлюпало в груди) накричала

на меня, будто, когда читаю, углы отрываю для забавы. Я глядел на неё и думал: вот до чего можно заболеть. Надел шапку и ушёл, проговаривая про себя все горячие слова.

А названия тех книг не стёрлись, не потускнели – «Чук и Гек», «Спящая царевна»...

Первый фашист, которого я увидел, был пленный с киркой. Он курил сигарету, безучастный и жалкий, в окружении таких же, лишённых оружия и родины. Они смотрели на нас, детей, с молчаливой тоской и прищуром. О чём думали мы – «безотцовщина»? О чём размышляли они, глядя на примолкнувшую стайку неприбранных пацанов? Пленные строили театр, строили без особого усердия, рыжие и темноволосые, они, конечно, и в спрятанных душах были разными, жестокими, оборванными – они словно стояли на чужом пепелище, потеряв желание к жизни. И не было им нашего прощения. Нынче площадь изменилась, театр давно вырос, омытый тёплым дождиком асфальт, как большое зеркало, держит тяжёлое отражение колонн. Но я, проходя мимо, очень ярко и точно вижу того первого немца с киркой, стоящего перед судом детской памяти, её обостренным взглядом и её болью.

Ах, какая это была ёлка! Она будто и не касалась пола – длинные огни стояли на паркете, и пахло сладко и горько, отчего в груди собиралась ясность и по рукам бежали колющие ёжики радости. Я держал за руку сестру, рука была тёплой и ласковой. А потом всё закружилось, и стало тесно в общем кругу, хотелось выскочить на середину к узкому прожектору, попасть в его горячий луч и взойти, как по летящей тропе, вверх. Я глянул на сестру и увидел, что она красивая, просто невозможно красивая: лёгкие волосы, перетянутые лентой, расплеснулись по плечам и скрыли заштопанный воротничок платья. В золотом окошке нам выдали подарки, и мы приняли их в жаркие руки и дали твёрдое слово донести, не раскрывая, до дома.

Снежок похрустывал, рассыпался, глубокие сугробы мерцали фиолетовым зябким светом. У горы налетел внезапный ветер, он ударил в спину и разомкнул наши руки. Потом сестра отряхивала меня от снега, я отряхивал её, а вниз с горы улетал не ветер, а чёрные, скорые тени, унося подарки. Мы стояли снова держась за руки, на взлобье горы и тихо плакали, привычные к напастям. А у подножья горы свистели и смеялись мальчишки на лыжах, и к ним вела единственная, освещённая луной, лыжня. «Они не могли пойти на ёлку, – вдруг сказала сестра. – Им тоже хочется подарков. Вот мы и подарили. Правда ведь ты добрый?» Но я ничего не видел сквозь слезы. Я не был ни злым, ни великодушным – я просто беззвучно плакал и никак не мог остановиться.

Время иногда заносит меня на эту гору, и я гляжу вниз – и прежняя лыжня появляется, как рубец на белой коже детства.

...Кружок бальных танцев при Дворце пионеров. Бальных... Солнце, расчертившее пол, и в светлых квадратах застыл тихий ряд девочек, а вдоль стены насупленная, нескладная шеренга мальчиков, в которой каждый – «гадкий утёнок», заплатка на заплате, башмаки – одно начищенное до блеска драное горе, и робость – смущённая спутница всякой неискушённой жизни. «Мальчики, подойдите к девочкам. Возьмитесь за руки. Да не дичитесь, девочки не кусаются. Танец «Конькобежцы», начали. Музыка!» Боже, что это было. Надо приблизиться к девочке, взять её, нет, не взять, а вцепиться в прохладную руку и скользить по паркету, изображая внимательность и участие. Страдало сердце от неловкости, волна окатывала, и казалось, вот-вот подвернётся нога, и оглушённый смехом, растечёшься по паркету, как лужа. Мы с другом ограничились разучиванием только танца «Конькобежцы» – он был прост. А затем был вечер, первый великолепный «бал», где нарядные девочки, как яблоки, рассыпались по залу. Нам бы хотелось пригласить их на танец, но танцы

были разные, незнакомые и сложные, при исполнении которых больше трудились, чем радовались: фигурный вальс, миньон и т. д. А мы ждали наш, плотно прижавшись к холодной стене, «Конькобежцев» – мы постигли его, как таблицу умножения.

Потом мы провожали до дома девочек. Они шли впереди, а мы на три шага сзади и вдыхали мартовский запах снега. Это был чистый запах весны, горьковатый от обновлённой коры деревьев...

Я думаю, всё начиналось там, на том далёком и близком островке, который носит красивое щемящее имя – детство. От него нельзя отказаться, его нельзя приукрасить. Оно живёт, как в глубине леса чистое озеро. И любое раздумье

уводит туда через заросли лет узкой тропой, и разные запахи оживают, и приглушённые голоса окружают тебя, – и вдруг точно вскрикиваешь, открывая руками ветки: в глаза летит звонкий свет воды и солнца. Это и есть твоя родина, твой первый глоток свежести в жажду.

Я не знаю, где оборвалось детство – на высоком ли дыхании, на горестном ли вздохе. А может, оно продолжается и не кончится никогда. Я бы хотел, желал – последнего. Ведь детством можно болеть, как можно болеть тоской о прекрасном. И я благословляю эту болезнь, потому что она приносит человеку счастливые страдания, – и детство проходит через зрелую жизнь, как пронзённое солнцем облако над спокойно лежащим полем.

100

поэзия и проза разных лет

Я ничего не позабыл

*В день рожденья Анны –
девочки из мира других измерений
(январь 1997 года)*

1

Как трудно это одолеть:
Врастая в жизнь
Всё глубже, глубже,
Когда пурга в груди погуживает,
Себя прошедшего жалеть
Над зеркалом весенней лужи...

Меж тем вот руки на столе
Лежат, прилежные для службы,
а прежде
Ты не знал, куда их деть –
На струны опустить или на плечи,
И пёрышки по одному терял, –
Лежат, холодные,
Неужто стали легче,
Воздушнее в покоях января...

Но помнят первое прикосновенье,
То самое – летучий, быстрый ток,
Неповторимое мгновенье,
Хотя и прошумел поток,
И ласточка не в наши сени, –

А струи всё летят, летят! –
Ты сам, как тёмная ладья,
В объятьях брызг, в водовороте,
Не знаешь, как перебороть их,
Однако выпрямляешь взгляд
До края...
Где вздох, должно быть,
Сладостен и краток,
Зато всем телом, корневищем жил.
Так трепещи, непрошенная радость,
Я на пределе эту жизнь прожил!

А снег ещё кружит, кружит
Тебя, как пчельник, заселяя,
Под сердцем веткою дрожит,
На мятежи благословляет.

2

Тот дом меня проглатывал,
Как руку варежка.
Я лестницу перелетал!
Теперь не та верста, не те лета.
И нет уж лесенки-чудесенки,
Ступени есть, всходящая гряда
Унылой серости,
И девочки в помине нет.

Как время беспощадно
К желанной хрупкости примет!
Чужой! Глаз искоса ухватит
Скользкий взбег глухого платья...
Но гром давненько прогремел,
Сносились прелесть ситца,
Нет в колчане калёных стрел...
О чём стучит в стекло синица?
Я прилетела! Сбрось свой груз!
Сходи на первое свиданье.
Прими на посошок –
Полегче станет!
В морозы хороша с ожогом грусть!

Я ничего не позабыл.
Живу на вечном переломе –
Суровым мальчиком
В погибшем доме
И стариком
На медленном пароме,
Узлом скрепился их союз
Земною и небесной силой уз.
Их можно вмиг местами поменять,
Вот только занавес поднять
Струящегося снега...
И яблоко в ладонь уронит небо...

В ладони лицо окунул.
Так втекают в луну,
Погружаются, тонут...
(Всё-то ближе к дому родному,
Там согреют, не проклянут!)

Усадила за стол.
Мёд и чай – угощенье.
Запах смол.
И – прощенье.

Плавит золото печь.
Никакой укоризны.
Бессловесная речь
Выше жизни.

– Я пришёл.
– Ты пришёл!
Мы просушим одежду.
– Мне с тобой хорошо.
– Я хранила надежду...

Не сказалось то вслух.
Затомилось.
Как томится в лесу
Полуночная сила –
Вздых и хруст, шепоток,
Полулепет, угроза
И связующий ток.
Запоздалые слёзы,
Пней глубокий распад,
Вечный гул сердцевины,
Голоса-паруса
Под опекой невинной...

Будет шорох огня.
Примолкшие двери.
На песке, на камнях
Птичьих перья...

Что? Откуда? Зачем?
Непричастному знать ли.
Лишь мерцанье очей,
Ворот слабого платья.

* * *

Я в чудный миг был тем и этим –
Шёл в гору и катился вниз..
Как поседел – и не заметил.
Сияет лёд! Блистает жизнь!
Мала?
Но в сладостном мгновенье
В одну картину ветер свил
И детства лёгонькие тени,
И золотую тяжесть крыл.

Какая бездна за плечами
Воркует тёмною водой?
Что за летания ночами
Над фиолетовой грядой?

Старик с улыбкою младенца,
Дитя с усмешкой старика, –
Как уместила в одно сердце,
Слила и вспенила река
Весь гнёт и свет воспоминаний,
И возраст низвела на нет?
Что там вдали туманом манит?
Чья тень замёрзла на окне?

Так чем же бег её измерить –
Огонь и лёд в одной горсти!
А позади, как крылья, двери
Лишь эхо может развести.
Лишь эхо – снега дуновенье
Иль паутины белый шёлк.
Жизнь – не мелькнувшее мгновенье,
А соловьиный перещёлк.

Голубая лошадь

ПОД СНЕГОМ

Памяти Салиха Сайдашева,
прекрасного композитора и человека

104

поэзия и проза разных лет

От погасшего фонаря падала зыбкая тень. Наверху играл снежный рой – сплетался, расплетался, дышал. По другую сторону обледенелой дороги, мощённой булыжником, стояла лошадь с санями, тёмно-голубая, как загустевший смороженный воздух... В чёрной подворотне топтался возчик. Лошадь обволакивалась паром.

Синяя от лёгкого морозца мостовая выгибала спину. Над ней колыхалось белое крыло, так казалось.

А он всё не уходил от фонаря. Вот уже час. Хотя бы о столб опёрся. Я с угла на угол сбегал два раза галопчиком, перестукал палкой все решётки, снегу летучего наглотался – а он всё стоит в шляпе и стоит. Заносит его, а он отряхивается.

– Дяденька, чего вы здесь стоите? – осмелел я.

– Ты гуляй, – вздрогнул он. – Гуляй.

– Ждёте кого, да?

– Никого не жду. Снег слушаю.

– Ну да! – озадачился я. – Какое бесстолковое дело.

– Вот слушаю, не мешай. Спать тебе пора.

– Дома гости, – сказал я.

– Какие гости, когда война?

– Чай пьют с сахаринном. Меня гулять отпустили. Мне что!

– Так никого ж на улице. Лошадь и я, да ты вот. Снег ещё. Пусто, холодно. Слышишь?

– Чего?

– Снег. Он гладится, его много. Лошадь совсем сгорбилась. Устала коняга. Из деревни бежала через поле, а дома – никого. Всю ночь и простоит,

бедная. У неё думы в голове. Туман. Гости...

Не со мной он говорил, а сам с собой. Не оборачивался. Про шляпу забыл, а она вот-вот скатится от тяжести небесной.

– А ты почему не вокоешь?

– У меня кости старые.

– Тогда зачем мёрзнешь?

– Снег слушаю. Издалека он летит.

Сквозь людей.

– Ты кто?

– Не поймёшь, мальчик. Я музыкант. Мне без музыки нельзя, я умру тогда. У тебя дома гости, а у меня старые кости, такие дела. А там – ухаёт, земля проваливается.

– Где, где?

– Там... – Он махнул рукой за снег, за темноту.

Этот перекрёсток называют «штаны». Одна улица расходилась на две улочки и утекала вниз. В центре, как замок, уходил к облаку дом с башенками, тяжёлый, бегемотового цвета. По соседству плескал флагом стадион. А мы стояли на театральном углу, как приговорённые. И чего надо торчать здесь?

– Пойдём, брат.

– Куда?

– Ко мне. Я здесь и живу. Вот ворота железные.

– В самом театре? Снег послушал, послушал, теперь спать будешь.

– Нет, я, как лошадь, ждать буду.

Снегу собрал, – сказал он непонятно. И сгорбился.

– Где же он? – растерялся я.

– Так не руками же.

Отодвинув щеколду, зашли в калитку. Лязгнуло железо. Гул пробежал наискосок за спину, к лошади понурой.

– Как же тебя одного отпускают в темноту? Фонари и то не горят. Я по привычке тут стоял под старым огнём, который был когда-то.

– Я сам прошусь. Кто меня тронет? – Да-а, брат.

От него пахло свежим холодом. Я и сам был холодный, а он – вовсе. Пока я носился с угла на угол, снег просыпался с меня. Спахнуло ветром, сдышало. А он тихо стоял у погасшего фонаря, обсыпался снегом вдоволь, ему греться – не отогреться. Изо рта пар не идёт, изнутри, видать, замёрз, а за пазухой теплынь, поди. Он же голову склонял, и дыхание на грудь сходило. Мы с ним оба подустали.

– Тут темно – лестница. Считай ступеньки, пятнадцать всего. Умеешь? Ну-ка, ну-ка, поработай.

Я стал громко считать, и голос мой выходил наружу светящимися звуками, распался на лету. Кажется, дотронуться можно до собственного голоса. Глухая чернота обступала.

– Как тебя зовут?

– Казбек. Я с горы скатился, мать говорит. Когда обвал был.

– А меня – Салих. Я вместе со снегом пришёл на землю. Опустился. Снег то вверх летит, то вниз. Замечал?

– А как же!

– Да ты молодец. Вот и я летаю туда-сюда: то вверх, то вниз. Зимой мне хорошо. Во мне снег тает.

Он будто загадки подбрасывал мне. Дома, наверно, и с картами управились. Нагадались: король, трэф, дама бубей...

– Пришли, – сказал он. И постучал.

Я пообвыкся с тьмой, ухватился за шершавый рукав. Где кончалась его голова, там слабо-слабо угадывался свет.

На лестнице пахло скудной едой – днём пекли картошку и свёклу – кожура пригорела.

Дверь отодвинулась, преодолевая тяжесть, протащилась войлоком. За-

колебалась коптилка, как синий мотылёк.

– Хо-одишь, хо-одишь. Когда-нибудь замёрзнешь, если водочки не поднесут, – сказал старый голос.

– Со мной товарищ.

– Пьяница, за версту почуяла.

– Она с темнотой ругается, – тронул он меня за плечо. – Она спала, вот ей и плохо. Разбудили. Не видит ничего. Здесь холодно. Пошли туда.

Коридорчик поглотил нас.

– Свечу зря не жги, – проводил вздох.

Протиснулись в дверь. Тут был другой запах – дерева и бумаги, едой не пахло.

– Не потерялся? Сейчас я зажгу свечу. Две могу зажечь по случаю знакомства. Всё теплей станет. Мне друг свечи привёз, обрадовал. Без огня человек шерстью зарастёт.

Чисто всплыл язык пламени, лизнул пустоту. Другой от него оторвался. Два языка стали дразниться. И тут же выскользнул чёрный огонь полированного дерева – пианино! И во мне заликовал марш солдатиков «Тари-тари-дам! Тари-тари-дам!» У меня уже были воспоминания. Я вспомнил себя на солнечном паркете детского сада.

«Маршируем под Турецкий марш Моцарта! – прозвучал голос красногубой тётки Нины. Но я её отодвинул легонько от себя, чтобы она не вспоминалась, а марш оставил.

– Что это ты замаршировал? Садись в кресло, а я поиграю. Руки застыли.

Шляпу он поставил, как большую чашку, между свечей кверху дном. Круглые капли исчезающего на глазах снега вбирали свет, разбухали. За свечами, как в круглой, прокопчённой раме, стояло лицо, тоже оттаявшее, припухшее. Мерцало глазами. И в них таял лёд. Рук я не видел. Пальто он только набросил на плечи.

Музыка была о снеге, я догадался. Снег то взлетал, то опадал, жил вокруг, дотрагивался до головы, едва-едва прикасался холодком, замирал.

Снег прилетел оттуда, где отец си-

дит в окопе. Посидит со мной маленько и соберётся назад к отцу. «Жив твой Казбек, музыку слушает...»

Снег закрыл меня совсем, с головой упрятал.

– Да ты, брат, спишь. Угостить нечем. Пойдём, пойдём, я провожу тебя. О часах забыл. Мать твоя, может, у ворот ходит.

И опять мы проволоклись по лестнице. Под веками скопился жёлтый, истекающий воском свет. Вытекал слезами. Мне отчего-то жалко было одинокого человека, зажатого языкастыми свечами. Жалко тихую музыку. Себя жалко. Мать, отца в окопе жалко. Меня придавила темнота. Я будто сверху поглядел на всё, приподняло куда-то меня остороженько, а внизу осталась покинутая заиндевелая лошадь с санями, полными морозного сахара, остался человек в шляпе под ослепшим фонарём, задумчивый до холода в груди, и сам я подле, в телогрейке, в скособоченных валенках. Впервые такое случилось со мной – без зеркала разглядеть себя со стороны, уменьшенным до жалости...

– Тебя принёс спящим какой-то человек. Красивый мужчина, – сказала утром мать. – Где ты был? Он ничего не объяснил. Показалось, я знаю его. Он приложил палец к губам и ушёл. Я пробовала задержать, а он сказал: «Пусть гора спит под снегом...» Это что же значит? Ах, да ты же Казбек. Кто он?

– Музыкант, – сказал я. – Мы с ним замёрзли.

– Где он тебя подобрал?

– Там была лошадь с санями. Каток рядом, театр. Мы зашли во двор. У меня голова ещё спит.

– Ты не договариваешь.

– Он зажёл свечи. Играл. Я и заснул. Снега было много.

– А при чём здесь снег?

– Снег то вверх летит, то вниз.

...В снежный, с ослепительным морозцем день его хоронили.

Я был уже студентом. Узнал вдруг, с запозданием. Никто не называл его имени, но вокруг точно всё переменялось.

Я вышел под снег, падающий густо, обильно, мягко. Словно легко стало снегу. Он накрыл меня, как прихлопнул всем пушистым верхом небес.

Я сошёл с горки к саду, пересёк его пустыньность.

Снег вёл меня к тому фонарю, я догадался уже на другом холме, том самом – здесь стояли мы с ним в тот снежный вечер. И сердце трепыхнулось, как крупная серебристая рыба.

Темно было от народа на снегу.

Его выносили из растворённых настежь дверей театра.

Я подошёл чуть ближе, но не оторвался совсем от фонаря. Вздрогнул: на противоположной стороне стояла та же снулая, обнесённая паром лошадь с санями. Не уходила она, что ли, никуда за эти годы?

Его пронесли мимо под широкую музыку. Снег обтекал голову. Мне померещилось, он чуть сместился лицом, силится повернуться ко мне, забыл что-то сказать. «Какой снег, а! Да-а, брат...»

Люди, опечаленные, продвигались за ним, приподнятым самой музыкой.

Никто из них не был посвящён в нашу тайну.

Это была музыка той ночи, грустная, как прощание со снегом. Может быть, тогда поделили мы одну на двоих, как тёплую краюшку хлеба, ночь одиночества, которую освещали сны людей.

Происхождение

Где я был,
Где я жил до того, как случилось родиться?
Над какими степями мой прадед загнал,
Задушил синей далью коня?

У костра погасали глаза на изъеденных
Оспою лицах...
Это было всё раньше, всё раньше,
До меня, до меня, до меня.

Но уже накопал я звездой ли, копытом ли, птицей.
Отрицаньем походов и хану готовил кинжал,
Проносил Млечный Путь на густых, на высоких
Ресницах.
Конь мой, вскинувший морду, на небо ржал.
Ждал.

Голубая луна просветлённо всходила
Над тюрчанкой, бегущей вослед табуну.
И гнедого за гриву рука, обнимая, ловила,
И тюрчанка в глазах уносила луну...

Не гляди на меня, когда тронет глаза закат
И душа свяжет шёпотом: «Стремя!»
Я, наверное, злой или предок мой – азиат,
Как огонь под золой, мне оставил на сердце –
Кремень.

Злой?
Мечи поржавели в земле.
Злой?
Срослись через тропы корни.
Подыши под огонь на золе –
И дымок ляжет в ноздри горький.
Зашаманит, загрезится степь,
Конь висок обожжёт дыханьем.

Кто-то выдумал дом и постель,
А седло и уздечку охаял.

Брошу всё и, закрыв глаза,
Протянув молодые руки,
К горизонту пойду.
Пусть ударит гроза,
С плеч осыплет мёртвые струпья.

Не читал я Коран.
Иль я слеп?
Эй, Аллах, я тебе не верю!

Добр тот дом, где хлеб на столе.
Зол тот глаз, что стоит за дверью.

Россиянка,
Возьми мою звонкую кровь,
Точный глаз и тонкую голень,
Ты роди же мне сына, чтоб мягкая бровь,
Но рука чтоб тверда, как корень.

Не гляди на меня, когда тронет глаза закат.
Кровь взорвётся. Погоди, успокоюсь...
Погоди,
Умирает во мне азиат
И уздечку ищет рукою.

* * *

Я был на той войне
Отцовским сном глубоким,
Как передышка, –
Васильки во ржи и спуск к реке,
Тумана поволока,
Всё дышит ровно, капелька дрожит...
А впрочем,
Не важны приметы и детали:
Какая птица? Кто там на мостках?
Но пули мимо цели пролетали,
Замедлил бег погибельный раскат.
Я был на той войне
Отцовским сном последним.
Над госпитальной койкой покружил.
Мы отдыхали с ним
На сене летнем.
Я поплавок сознания сторожил.
И те же васильки во ржи...
Чем дале путь, тем и бесследней.
А впрочем...
Сон предугадать ли?
Уже сгущался, настилаясь, мрак.
Смешались, угасая, дали...
...он отлетал...
Он был в иных мирах...
Топталась смерть растерянно
в дверях.
Я был на той войне
Отцовским сном последним
Когда-то в мае, в 45-м,
Почти девятилетним.

* * *

Птица забывает о полёте.
Голубое – под крылом.
Если птицу в небе вы убьёте,
Значит, птицу небо подвело.
Обмануло, не упрятало –
Дробь под сердце,
и крыло, как всплеск...
Вот она из солнечного кратера
Падает в столетний лес –
Песня
и Слеза
Большого Неба.

* * *

Глухой враждой любовь назвали...
Угрюмой взгляд, сны тяжелы,
Как будто на сыром вокзале
Прилёт на странные узлы,
И лишь накоротке забылся,
А тут уж гонят от тепла...
Кружатся дни. Мелькают лица.
Костёр сгорел. Одна зола.

* * *

Не дай вам бог бездумных дочерей
И сыновей, бесстрашных у застолья...
Родитель бедный, нет беды черней,
Чем суховей, мятущийся раздольем.
Все ниц пред ним – и с корнем, и дотла!
Перо и пух с разрушенных гнездовий...
И посох дней зло вырвала из рук,
Как выкрутила крылья за спиною...
Воды б испить, но мгла свистит вокруг,
Но сердце режет острою косою.

Собачье счастье любить!

Никто не любил меня так,
Как моя собака
Цвета красных листьев осин.

Когда я входил,
Глаза её – два золотых шмеля –
Загорались,
Пролетая мимо насквозь.
Тело играло,
Как тугая волна,
Волновалось.
Шерсть лоснилась.
В гулкой пасти
Колотился розовый язык пламени.
Так она улыбалась.
Её разрывало счастье –
Собачье счастье любить.

И гордиться тем,
Что её хозяин
Ходит не так, как другие,
Говорит – замирает дух,
А пахнет – сквозь камень слышно –
Чертовски вкусно.

Она хватала солнце зубами,
Как половик,
Ревнуя, –
И ждала постоянно ласки.

Молодые мослы
таскала мне с помойки,
не зная, чем утешить беднягу.

А когда умирала,
Горя головой,
То будто шептала:
«Ты остаёшься.
С меня довольно и этого.
Жаль,
Что нету больше собаки,
Как я...»

До сих пор остывает ожог –
Собачье счастье любить.